

МАРИ ДЮПЛЕССИ

В тысяча восемьсот сорок пятом году, в эпоху благоденствия и мира, когда молодая Франция была осыпана всеми дарами ума, таланта, красоты и богатства, в Париже проживала молодая, замечательно красивая и привлекательная особа; где бы она ни появлялась, все, кто видел ее в первый раз и не знал ни имени, ни профессии, обращали на нее почти-тельное внимание. И действительно: у нее было самое безыскусственное, наивное выражение лица, обманчивые манеры, смелая и вместе с тем скромная походка женщины из самого высшего общества; лицо у нее было серьезное, улыбка значительная, и при виде ее можно было повторить слова Эллевью об одной придворной даме: не то это кокетка, не то герцогиня.

Увы, она не была герцогиней и родилась на самом низу общественной лестницы; нужно было иметь ее красоту и привлекательность, чтобы в восемна-

дцать лет так легко перешагнуть через первые ступени. Помню, я встретил ее в первый раз в отвратительном фойе одного бульварного театра, плохо освещенного и переполненного шумной публикой, которая обыкновенно относится к мелодраме как к серьезной пьесе. В толпе было больше блузок, чем платьев, больше чепцов, чем шляп с перьями, и больше потрепанных пальто, чем свежих костюмов; болтали обо всем: о драматическом искусстве и о жареном картофеле; о репертуаре театра Жимназ и о сухарях в театре Жимназ; но когда в этой странной обстановке появилась та женщина, казалось, что взглядом своих прекрасных глаз она осветила все эти смешные и ужасные вещи. Она так легко прикасалась ногами к неровному паркету, как будто в дождливый день переходила бульвар; она инстинктивно приподнимала платье, чтобы не коснуться засохшей грязи, вовсе не думая показывать нам свою стройную, красиво обутую ножку в шелковом ажурном чулке. Весь ее туалет гармонировал с ее гибкой и юной фигуркой; прелестный овал слегка бледного лица придавал ему обаяние, которое она распространяла вокруг себя, словно какой-то необыкновенно тонкий аромат.

Она вошла, прошла с высоко поднятой головой через удивленную толпу и — представьте себе наше удивление, Листа и мое, — фамильярно села на нашу скамейку, хотя ни Лист, ни я не были с ней знакомы; она была умная женщина, со вкусом и здравым смыслом, и первая заговорила с великим артистом; она сказала ему, что слышала его недавно и что он очаро-

вал ее. Он, подобный звучным инструментам, которые отвечают на первое дуновение майского ветерка, слушал со сдержанным вниманием ее слова, полные содержания, звучные, красноречивые и мечтательные по форме. Со свойственным ему поразительным тактом и привычкой вращаться как среди официального мира, так и среди артистического, он задавал себе вопрос: кто эта женщина, такая фамильярная и вместе с тем такая благородная, которая первая с ним заговорила, но после первых же слов обращалась с ним несколько высокомерно, как будто он был ей представлен в Лондоне, при дворе королевы или герцогини Сутерландской?

Однако в зале уже прозвучали три торжественных удара режиссера, и в фойе не осталось никого из публики и критиков. Только незнакомая дама оставалась со своей спутницей и с нами, — она под села даже поближе к огню и поставила свои замерзшие ножки так близко к поленьям, что мы свободно могли рассмотреть ее всю, начиная с вышивки ее юбки и кончая локонами прически; ее рука в перчатке была похожа на картинку, ее носовой платок был искусно обшит королевскими кружевами; в ушах ее были две жемчужины, которым могла бы позавидовать любая королева. Она так носила все эти вещи, как будто родилась в шелку и бархате, под золоченой кровлей, где-нибудь в великолепном предместье, с короной на голове, с толпой льстецов у ног. Ее манеры гармонировали с разговором, мысль — с улыбкой, туалет — с внешностью, и трудно было бы отыскать на самых

верхах общества личность, так гармонизировавшую со своими украшениями, костюмами и речами.

Лист был очень удивлен таким чудесным явлением в подобном месте, таким приятным антрактом в этой ужасной мелодраме и разошелся. Он был не только величайший артист, но и очень красноречивый собеседник. Он умел разговаривать с женщинами и, как они, переходил от одной идеи к другой, прямо противоположной. Он обожал парадоксы и то касался серьезных материй, то смешных; я не сумею вам описать, с каким искусством, с каким тактом, с каким безграничным вкусом он вел с этой незнакомкой обычный, немного вульгарный и в то же время чрезвычайно изящный разговор.

Они разговаривали так в продолжение всего третьего акта мелодрамы, а ко мне обращались только два раза из вежливости; я находился как раз в это время в том скверном настроении, когда человеческая душа не поддается никакому восторгу, и был уверен, что незнакомая дама считает меня очень скучным и глупым, в чем она была совершенно права.

Зима прошла, прошло лето, а осенью на блестящем бенефисном спектакле в Опере мы вдруг увидели, как шумно открылась большая ложа в бельэтаже и там появилась с букетом в руках та самая красавица, которую я видел в бульварном театре. Это была она! Но на этот раз — в роскошном туалете модной женщины, сверкая блеском победы. Она была восхитительно причесана, ее прекрасные волосы были переплетены бриллиантами и цветами и

так грациозно зачесаны, что казались словно живыми; у нее были голые руки и грудь, и на них сверкали ожерелья, браслеты, изумруды. В руках у нее был букет, не сумею сказать какого цвета; нужно иметь глаза молодого человека и воображение ребенка, чтобы различить окраску букета, над которым склоняется красивое лицо. В нашем возрасте замечают только щечки и глаза и мало интересуются всем остальным, а если стремятся сделать какие-нибудь выводы, то их черпают в самом человеке, и это доставляет немало труда.

В этот вечер Дюпре начал борьбу со своим непокорным голосом, окончательный бунт которого он уже предчувствовал; но он один это предчувствовал, большая публика этого и не подозревала. Только немногие любители угадывали усталость, скрытую под искусными приемами, и истощение артиста от колоссальных усилий лгать перед самим собой. По-видимому, прекрасная дама, о которой я говорю, была такой ценительницей: послушав несколько минут очень внимательно и не поддавшись обычному очарованию, она энергично отодвинулась в глубину ложи, перестала слушать и начала с лорнетом в руках изучать публику.

Вероятно, она многих знала среди избранной публики этого спектакля. Судя по движению ее лорнета, легко было заключить, что молодая женщина могла рассказать многое о молодых людях с самыми громкими именами; она смотрела то на одного, то на другого, без разбора, не выделяя никого своим вни-

манием, равнодушная ко всем, — и каждый отвечал ей на оказанное внимание улыбкой или быстрым поклоном, или мимолетным взглядом. Из глубины темных лож и мест оркестра к прекрасной женщине летели другие взоры, пламенные, как вулкан, но их она не замечала. Но когда ее лорнет случайно попадал на дам из настоящего общества, она внезапно принимала такой покорный и жалкий вид, что было больно на нее смотреть. И наоборот, она с горечью отворачивалась, если по несчастной случайности ее взор падал на красавиц, пользующихся сомнительной известностью и занимающих самые лучшие места в театре в большие дни. Ее спутник (на этот раз у нее был кавалер) был очень красивый молодой человек, наполовину парижанин, сохранивший еще некоторые остатки отцовского состояния, которые он съедал день за днем в этом погибельном городе. Этот начинавший жить молодой человек гордился своей спутницей, достигшей апогея красоты, с удовольствием афишировал свое право собственности на нее и надоедал ей всевозможными знаками внимания, которые так приятны молодой женщине, когда они исходят от милого сердцу любовника, и так неприятны, когда не встречают взаимности... Она его слушала, не слыша, и смотрела на него, не видя... Что он говорил? Она не знала; но она старалась отвечать, и эти бессмысленные слова утомляли ее.

Таким образом, сами того не подозревая, они были не одни в ложе, стоимость которой равнялась полугодичному пропитанию целой семьи. Между ней

и ним возник обычный спутник больных душ, уязвленных сердец, изможденных умов: скука, этот Мефистофель заблудших Маргарит, павших Кларисс, всех этих богинь, детей случая, которые бросаются в жизнь без руля и без ветрил.

Она, эта грешница, окруженная обожанием и поклонением молодости, скучала, и эта скука служила ей оправданием, как искупление за скоро преходящее благоденствие. Скука была несчастьем ее жизни. При виде разбитых привязанностей, сознавая необходимость заключать мимолетные связи и переходить от одной любви к другой, — увы! — сама не зная почему, заглушая зарождающееся чувство и расцветающую нежность, она стала равнодушной ко всему, забывала вчерашнюю любовь и думала о сегодняшней любви столько же, сколько и о завтрашней страсти.

Несчастливая, она нуждалась в уединении... и всегда была окружена людьми. Она нуждалась в тишине... и воспринимала своим усталым ухом беспрерывно и бесконечно все одни и те же слова. Она хотела спокойствия... ее увлекали на празднества и в толпу. Ей хотелось быть любимой... ей говорили, что она хороша! Так она отдавалась без сопротивления этому беспощадному водовороту! Какая молодость!.. Как понятны становятся слова м-ль де Ланкло, которые она произнесла с глубоким вздохом сожаления, достигнув сказочного благополучия, будучи подругой принца Конде и мадам Ментенон: «Если бы кто-нибудь предложил мне такую жизнь, я бы умерла от страха и горя».

Опера кончилась, прелестная женщина встала, хотя вечер был еще в полном разгаре. Ждали Буффэ, м-ль Дежазе и актеров из Пале-Рояля, не говоря уже о балете, в котором должна была выступать Карлотта, прелестное и грациозное создание, переживающее первые дни восторга и поэзии... Она не хотела дожидаться водевиля; ей хотелось сейчас же уехать домой, хотя остальную публику ожидали еще несколько часов удовольствия, под звуки музыки и при свете ярких люстр.

Я видел, как она вышла из ложи и сама накинула на себя шубу на горностаевом меху. Молодой человек, который ее сопровождал в театр, казалось, был недоволен, и так как теперь ему не перед кем было хвастаться этой женщиной, то он и не беспокоился больше о ней. Помню, что я помог ей укутать ее белые плечи, и она посмотрела на меня, не узнавая, с горькой улыбкой, которую перевела потом на молодого человека, расплачивавшегося в это время с портьершей, требуя у нее пять франков сдачи.

— Сдачу оставьте себе, — сказала она портьерше, приветливо кивнув ей.

Я видел, как она спустилась по большой лестнице с правой стороны, ее белое платье резко выделялось под красным пальто, а шарф, покрывавший голову, был завязан под подбородком, ревнивое кружево падало ей на глаза, но кого это трогало! Эта женщина уже сыграла свою роль, ее рабочий день был окончен, и ей не к чему было думать больше о

своей красоте. Наверное, в эту ночь молодой человек не переступил порог ее комнаты...

Должен отметить одну очень похвальную вещь: эта молодая женщина пригоршнями разбрасывала золото и серебро, увлекаемая как своими капризами, так и своей добротой, и мало ценя эти печальные деньги, которые ей доставались так тяжело; но вместе с тем она не была виновницей ни разорений, ни карточной игры, ни долгов, не была героиней скандальных историй и дуэлей, которые, наверное, встретились бы на пути других женщин в ее положении. Наоборот, вокруг нее говорили только о ее красоте, о ее победах, о ее хорошем вкусе, о модах, которые она выдумывала и устанавливала. Говоря о ней, никогда не рассказывали об исчезнувших состояниях, тюремных заключениях за долги и изменах, неизбежных спутниках потемок любви. По-видимому, вокруг этой женщины, так рано умершей, создалось какое-то тяготение к сдержанности, к приличию. Она жила особой жизнью даже в том обособленном обществе, к которому она принадлежала, в более чистой и спокойной атмосфере, хотя, конечно, атмосфера, в которой она жила, все губила.

В третий раз я ее встретил на освящении Северной железной дороги, на празднествах, которые Брюссель устраивал Франции, ставшей его соседкой и сотрапезницей. Бельгия собрала на вокзале, этом центральном пункте всех северных железных дорог, все свои богатства: растения из своих оранжерей, цветы из своих садов, бриллианты своих корон. Не-

вероятная смесь всевозможных мундиров и лент, бриллиантов и газовых платьев заполняла место небывалого празднества. Французское пэрство и немецкое дворянство, испанская Бельгия, Фландрия и Голландия, разукрашенные старинными драгоценностями, современными Людовику XIV, представители больших, солидных промышленных фирм, масса изящных парижанок, похожих на бабочек в пчелином улье, слетелись на этот праздник промышленности и путей сообщения, покоренного железа и огня. Здесь беспорядочно были представлены все силы и красоты творения, от дуба до цветка, от каменного угля до аметиста. Среди толпы различных народностей, королей, принцев, артистов, кузнецов и европейских кокоток мы увидели или, вернее, я увидел эту прелестную женщину, еще более побледневшую, чем раньше, уже сраженную невидимым злом, которое влекло ее к могиле.

Она попала на этот бал, несмотря на свое имя, благодаря своей ослепительной красоте. Она привлекала всеобщее внимание, ей выражали восторг. Лстыивый шепот провожал ее на всем пути, и даже те, кто ее знал, склонялись перед ней; как всегда, спокойная и презрительно замкнутая, она принимала эти восторги как нечто должное. Она спокойно ступала по коврам, по которым ступала сама королева. Не один принц останавливался перед ней, и его взгляды легко могла понять любая женщина: я преклоняюсь перед вашей красотой и удаляюсь с сожалением. В этот вечер ее вел под руку новый незнако-

мец, белокурый, как немец, бесстрастный, как англичанин, изысканно одетый, очень корректный, очень замкнутый; по-видимому, он считал свой поступок проявлением большой смелости, в которой мужчины упрекают себя потом до самой смерти.

Вероятно, поведение этого человека было неприятно впечатлительной особе, которую он вел под руку; она угадывала его своим шестым чувством и удваивала свою надменность; ее чудесный инстинкт подсказывал ей, что чем больше этот человек удивляется своему поступку, тем сильнее должна возрастать ее дерзость и презрение к угрызениям совести этого жалкого парня. Немногие понимали страдания, которые переживала в этот момент она, женщина без имени, которую вел под руку человек без имени; казалось, он подавал сигнал общему неодобрению и всем своим угрожающим поведением ясно выказывал свою беспокойную душу, нерешительное сердце и смущенный ум. Но этот англо-немец был жестоко наказан за свою скрытую тревогу; на повороте аллеи, залитой светом, наша парижанка встретила своего друга, неприятельного друга, который получал время от времени кончики ее пальцев для поцелуя и улыбку на ее губах.

— Вы здесь, — воскликнула она, — дайте мне руку и пойдем танцевать!

И, бросив руку своего официального кавалера, она начала танцевать вальс в два па, полный соблазна, когда его танцуют под музыку Штрауса, так, как его танцуют на берегах немецкого Рейна, его настоя-

щей родины. Она танцевала очаровательно, не особенно быстро, не особенно наклонялась, послушная внутреннему ритму и внешнему темпу, едва касаясь легкой ножкой гладкого пола, мерно подскакивая, не сводя глаз со своего кавалера.

Около них образовался круг, и то одного, то другого касались прелестные волосы, развевавшиеся в такт быстрого вальса, и легкое платье, пропитанное нежными духами; мало-помалу круг становился все теснее и теснее, другие танцоры останавливались, чтобы посмотреть на них, и само собой случилось, что высокий молодой человек, который привел ее на бал, потерял ее в толпе и тщетно искал ту, которой он с таким отвращением предложил свою руку... Нельзя было найти ни этой женщины, ни ее кавалера.

На другой день после этого праздника она приехала из Брюсселя в Спа прекрасным утром, когда горы, поросшие зеленью, пропускают солнце. В этот час сюда стекаются все счастливые больные, которые стремятся отдохнуть от развлечений прошлой зимы, чтобы лучше подготовиться к развлечениям будущей. В Спа знают только одну лихорадку — бальную, только одну тоску — разлуки, только одно лекарство — болтовню, танцы и музыку, и волнения игры вечером, когда укрепления сверкают всеми огнями, когда горное эхо повторяет на тысячи ладов чарующие звуки оркестра. В Спа парижанку приняли с редким вниманием для этой немного дикой деревни, которая охотно уступает Бадену — своему сопернику — красавиц без имени, без мужа и без поло-

жения. Все были чрезвычайно удивлены в Спа, когда узнали, что эта молодая женщина серьезно больна, и опечаленные врачи признались, что они редко встречали больше покорности, соединенной с большим мужеством.

Ее очень внимательно, старательно выслушали и после серьезного совещания предписали покой, отдых, сон, тишину, одним словом, все, о чем она мечтала для себя. Услышав эти советы, она улыбнулась, недоверчиво покачав головой, — она знала, что все было возможно, кроме этих счастливых часов, удела только некоторых избранных женщин. Она обещала, однако, слушаться в течение нескольких дней и подчиниться этому спокойному режиму. Но тщетные усилия! Через некоторое время ее видели пьяной и безумно веселой деланным весельем, верхом на лошади, на самых опасных дорожках, удивляющей своим весельем ту самую аллею «Семи часов», которая так недавно ее видела мечтательно читающей в тени деревьев.

Скоро она стала львицей этих прекрасных мест. Она царила на всех празднествах, оживляла балы; она предписывала программу оркестру, а ночью, когда сон принес бы ей так много пользы, она пугала самых бесстрашных игроков грудami золота, которые вырастали перед ней и которые она сразу теряла, равнодушная к выигрышу, как и к проигрышу. Она считала игру придатком своей профессии, средством убивать часы, которые убивали ее жизнь. Несмотря ни на что, у нее оставался еще большой козырь в жестокой жиз-

ненной игре, у нее были друзья, хотя обычно эти мрачные связи оставляют после обожания только прах и пыль, суету и ничтожество! И как часто любовник проходит мимо своей возлюбленной, не узнавая ее, и как часто любовница тщетно призывает на помощь!.. Как часто рука, привыкшая к цветам, тщетно просит милостыни и черствого хлеба!..

С нашей героиней этого не было, она пала, не жалуясь, и, упав, нашла помощь, поддержку и покровительство среди страстных обожателей ее лучших дней. Эти люди, которые были соперниками и, может быть, врагами, соединились у изголовья больной, чтобы искупить безумные ночи добродетельными ночами, когда приблизится смерть, разорвется завеса, и жертва, лежащая на одре, и ее соучастники поймут наконец правдивость слов: *Vae ridentibus!* Горе смеющимся! Горе! Иначе говоря, горе пустым радостям, горе несерьезным привязанностям, горе непостоянным страстям, горе юности, заблудившейся на дурных дорогах, ибо придет время, когда придется вернуться обратно и пасть в бездну, неизбежную в двадцать лет.

Она умерла, нежно убаюканная и утешенная бесконечно трогательными словами, бесконечными братскими заботами: у нее не было больше любовников... Никогда у нее не было столько друзей, и вместе с тем она без сожаления расставалась с жизнью. Она знала, что ее ждет, если к ней вернется здоровье, и что придется снова поднести к своим бескровным губам чашу наслаждения, гущи которой она слиш-

ком рано вкусила; она умерла молча, еще более сдержанная в смерти, чем была в жизни; после всей роскоши и скандалов хороший вкус подсказал ей желание быть погребенной на рассвете, в уединенном, неизвестном месте, без шума, без хлопот, как честная мать семейства, которая соединяется на этом кладбище со своим мужем, своим отцом, своей матерью и своими детьми, со всем, что она любила.

Однако, помимо ее воли, ее смерть была как бы событием! О ней говорили в течение трех дней; а это много в этом городе пылких страстей и непрерывных праздников. Через три дня открыли запертую дверь ее дома. Окна, выходившие на бульвар, как раз напротив церкви Святой Магдалины, ее покровительницы, снова впустили воздух и свет в эти стены, где она умерла. Казалось, что молодая женщина снова появится в этом жилище. Не осталось никаких следов смерти ни в складках шелковых занавесей, ни в длинных драпировках необыкновенного оттенка, ни на вышитых коврах, где цветок, казалось, рождался под легкой ногой ребенка.

Все в этих роскошных покоях стояло еще на своих местах. У изголовья скамеечка сохранила отпечаток колен человека, закрывшего ей глаза. Старинные часы, показывавшие время мадам Помпадур и мадам дю Барри, показывали время и теперь; в серебряных канделябрах были вставлены свечи, оправленные для последней беседы; в жардиньерках боролись со смертью розы и выносливый вереск. Они умирали без воды... Их госпожа умерла без счастья и надежды.